





Вашингтон
ИРВИНГ

(1783–1859)

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Вашингтон
ИРВИНГ

*Дом
с привидениями*

Новеллы

Москва



2017

УДК 821.111-32(73)
ББК 84(7Сое)-44
И78

Перевод с английского *А. Бобовича, В. Муравьева*

Вступительная статья *А. Зверева*

Оформление серии *Е. Соколовой*

Оформление переплета *Н. Ярусовой*

В оформлении переплета использованы фрагменты работы
художника *Теодора фон Хольста*

Ирвинг, Вашингтон.

И78 Дом с привидениями : новеллы / Вашингтон Ирвинг ;
[пер. с англ. А. С. Бобовича, В. С. Муравьева]. — Москва :
Издательство «Э», 2017. — 608 с. — (Зарубежная классика).

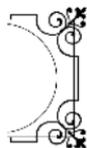
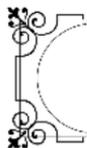
ISBN 978-5-699-96760-5

Вашингтон Ирвинг — мастер плести тонкую нить из мистики и реальности. Что здесь явь, а что сон? Всадник без головы, таинственное исчезновение учителя Икабода Крейна, призраки Сонной Лощины, «душераздирающие вопли» и «скорбные стенания» из леса, в котором водится «Ночной Кошмар со всем своим мерзким отродьем» — это и не только это пугает в «Легенде о Сонной Лощине». Раньше почти в каждом, даже самом отдаленном уголке планеты можно было найти жилище, славящееся как дом с привидениями. Достаточно произойти убийству или внезапной смерти в каком-нибудь старинном особняке, как он тотчас же зарабатывал нехорошую репутацию. Конечно же, и в городке, о котором пойдет речь, такой дом имеется...

УДК 821.111-32(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-699-96760-5

© Зверев А., предисловие. Наследники, 2017
© Бобович А., перевод на русский язык.
Наследники, 2017
© Муравьев В., перевод на русский язык.
Наследники, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Э», 2017



ВАШИНГТОН ИРВИНГ

Попробуем представить себе Нью-Йорк, каким он был лет двести назад. Город к тому времени насчитывал уже полтора века своей истории, но Нью-Йорком стал называться не сразу: поселение в устье Гудзона основали голландцы и нарекли его Новым Амстердамом. К концу XVII столетия англичане вытеснили бывших хозяев этих мест, по-новому зазвучали имена деревень, гаваней и рек. А все-таки еще очень долго чувствовалось, что первыми проникли сюда из Европы подданные Соединенных провинций.

И в самом Нью-Йорке, и особенно на фермах, окружавших город, по-прежнему слышалась голландская речь, а многие и жили так, словно нидерландское знамя, а не стяг британской короны развевается над губернаторской резиденцией. На каждом шагу попадались дома, построенные из дерева, но непременно украшенные по фасаду черными или желтыми кирпичами, доставленными через океан напрямиком из Утрехта. Тянулись в небо выстроенные фламандскими мастерами колокольни с обязательным флюгером на острие шпиля, сонные окрестные ручьи были перегороджены запрудами и становились подобием каналов.

За редко открывавшимися парадными дверями, которые украшали начищенные до ослепительного блеска медные молотки, царил степенный и размеренный быт. Еще крепко держались бюргерские понятия и нравы, еще властвовали скопидомские побуждения и предметом гордости оставались набитые всяким добром сундуки. Дощатые столы проседали под тяжестью громадного блюда, на котором красуется поросенок, и пятиведерного котла с кипятком, разливаемым в чашки делфтского фарфора:

ропись на них изображала толстеньких пастушек или паруса на фоне высоких дамб. Читали одну только Библию, собираясь вечерами у выложенной изразцами печи. А когда такое чтение приедалось, скрасить скуку осенних и зимних сумерек помогали рассказы о прошлом, предания и легенды, в изобилии оставленные ранними голландскими поселенцами.

Эти рассказы доносили поэзию уже исчезающего мира американской старины. В них возникала картина пышная и приятательная — изумрудные луга, на которых привольно пасутся стада оленей, тюльпанные деревья в цвету, могучие дубы, теперь вытесняемые завезенными из-за океана тополями, протянувшиеся до самого горизонта лесистые холмы, безлюдье, простор. И, конечно, какие-то сказочные клады, зарытые пиратами на диких островах в излучках широкого Гудзона. И таинственные полуразвалившиеся хижины — приют первопроходцев, бесследно исчезнувших среди прибрежных скал, о которые разбились их потрепанные штормами бриги. И ведьмы, исправно наведывавшиеся под крыши приземистых домиков, где с трубкой в зубах подремывал перед очагом тучный мингер, а его супруга в плоеном чепце вязала разноцветный коврик...

Ирвингу такие предания были знакомы едва ли не с младенческих лет, а жизнь, которую он мальчиком наблюдал в родном своем Нью-Йорке, лишь помогала окрепнуть рано у него пробудившемуся романтическому ощущению действительности. Родившийся в 1783 году в семье шотландского торговца, незадолго перед тем перебравшегося на другой берег Атлантики, Ирвинг еще ребенком выказывал странности характера: мечтательность, впечатлительность, непрактичность. Роскошный особняк Ирвингов на Уильям-стрит, где росли самые старые в городе вишневые деревья, так и не сделался для младшего из трех сыновей родным домом в истинном значении слова. Вашингтон, названный так в честь лидера американской революции, изгнавшего англичан из Нью-Йорка как раз в тот год, когда будущий писатель явился на свет, был глубоко равнодушен и к коммерческой деятельности отца, и к карьере стряпчего, которая ему была предназначена.

В школе он охотно читал по-латыни Цицерона и Тита Ливия, а у себя в комнате проливал слезы над стихами английского сентименталиста Оливера Голдсмита, которого потом нежно любил всю жизнь, но не мог и не хотел приобретать никаких житейских

навыков. А едва заводили речь о том, что пора бы озаботиться будущей профессией, он под любым предлогом норовил сбежать из гостиной, забившись в свой укромный уголок за книжными шкафами или еще лучше — отправившись скитаться по округе.

Миновав две-три улицы, застроенные торговыми домами и конторами банков, можно было выйти к окраинам, где тянулись нескончаемые огороды и высились среди черепичных кровель красные кирпичи. Парусники со всего света толпились перед входом в нью-йоркский порт, день и ночь визжали лебедки, но стоило переплыть в ялике реку, и открывались совсем другие виды. Сонная Лошина, воспетая Ирвингом в одном из его лучших рассказов, тогда еще была населена почти сплошь голландцами, здесь все дышало историей и каждая старинная постройка, каждое заброшенное кладбище пробуждали фантазию. Вместе со своим школьным товарищем Джеймсом Полдингом, который потом сам станет писателем, Ирвинг еще в детстве изучил каждую тропку, пролегшую через эти места. Полдинг гордился своим нидерландским происхождением, а его отец, старый морской капитан, говорил по-английски лишь в самых необходимых случаях. У Полдингов Ирвинг многое услышал о поверьях и обычаях первых колонистов на Гудзоне. Так прикоснулся он к источнику, питавшему его творчество долгие годы.

Домой он возвращался неохотно и за семейным столом больше все молчал, погруженный в какой-то закрытый для других полуреальный мир. Старших это раздражало, хотя им не были вовсе чужды литературные интересы: один из братьев в молодости редактировал скромную нью-йоркскую газету, другой даже выступил соавтором Ирвинга, когда тот в 1807 году затеял выпускать юмористический альманах «Сальмагунди» — серию забавных зарисовок повседневной жизни родного города, пользовавшуюся немалым успехом. Но и для Питера и для Уильяма писательство осталось юношеским увлечением: один сделался врачом, другой унаследовал отцовскую скобяную торговлю.

Для Вашингтона писательство оказалось судьбой.

После школы он не захотел продолжать образование, сославшись на слабое здоровье, и его наконец оставили в покое, дав возможность заниматься тем, чем он только и мог заниматься, — литературой. Он писал стихи, театральную критику, юморески.

Альманах принес ему известность, но все-таки звездный час Ирвинга был еще впереди.

Друзья Ирвинга, даже его близкие быстро перенимали американскую деловую хватку и шли в гору, он же с годами все больше тяготился этой пресной будничностью, этой меркантильной суетой. Своих средств у него не было, а когда в 1815 году потерпело жестокое поражение основанное отцом дело, он, отправленный к английским компаньонам за помощью, очутился буквально без гроша в кармане, и тут уж пришлось писать для заработка. Но Ирвинга даже обрадовал такой поворот судьбы. По крайней мере, никакие семейные обстоятельства его теперь не связывали. И можно было посвятить себя творчеству безраздельно.

В том, что это его призвание, Ирвинг не сомневался. Он ехал в Европу сложившимся писателем, у которого есть своя тема и свой герой. Тема наметилась еще в тех юмористических очерках, которые он писал для «Сальмагунди». Это была смешная книга: в ней рассказывалось о трех чудаках, которые любят собираться в старом загородном поместье и, вволю подурочившись, за ужином обсуждают городские новости, кстати или некстати припоминая курьезные случаи, приключившиеся с ними или с их знакомыми. Читателей забавляли несерьезные эти повести, порой напоминавшие едкий анекдот, и вряд ли кто-нибудь в ту пору заметил, что страницы, принадлежавшие Ирвингу, отличаются от написанных его братом и даже Полдингом. Те только развлекали или поддразнивали публику, Ирвинг делился с нею мыслями, еще не вполне определившимися, но настойчивыми и не лишенными тревоги. Ему, выросшему на воспоминаниях о безоблачной поро голландского правления и хорошо помнившего первые годы после американской революции, казалось, что страна меняется до неузнаваемости. А суть происходивших перемен смущала Ирвинга и внушала ему беспокойство.

На страницах «Сальмагунди» это беспокойство еще еле ощущимо, но со временем оно даст себя почувствовать очень ясно. И причин для него было более чем достаточно. В самом деле, отчего поколебались патриархальная прочность быта и простота нравов, когда президент каждое утро собственноручно привязывал свою лошадь к столбу, врытому в землю перед Белым домом? Отчего тускнеет красочная экзотика улиц, на которых еще недавно бурлила разноязыкая толпа жизнерадостных и добросердечных

людей, теперь с головой ушедших в борьбу за власть и богатство? И почему такой унылой прозой обернулись высокие идеалы, провозглашенные героями Войны за независимость? Почему кипучая энергия американцев уживается с плоской моралью накопительства, с нечувствительностью к подлинной красоте жизни?

По своим взглядам Ирвинг был никак не радикалом, а в старости — он дожил до 1859 года, когда уже давно не было на свете его более прославленных и более резких в своих суждениях литературных современников — Фенимора Купера и Эдгара По, — консервативные его убеждения вызывали только улыбку даже самых умеренных либералов. Но Ирвинг был замечательным художником, и как художник он не мог не испытывать разочарования в том разладе между патетическими декларациями 1776 года и реальной практикой буржуазного общества, который был слишком на виду уже и в его эпоху. Объяснить это противоречие он, разумеется, не умел, но чувствовал его остро и точно. И его раздражало, что жизнь в Америке делается все однообразнее, все вульгарнее по духу. Он с горечью убеждался, что романтика исчезает стремительно и безвозвратно. Недовольство настоящим вызывало у него, как у всех романтиков, тоску по прошлому, которое он подчас был склонен сильно идеализировать. Прошлое, американское прошлое, с детства им в себя впитанное и сулившее, по его ощущению, такие прекрасные перспективы всеобщего довольства и счастья, стало главной темой Ирвинга, определив тональность всего, что он писал.

Ну, а герой был найден еще на заре литературной деятельности, когда, мистифицируя читателей, Ирвинг вывел на сцену некоего Дидриха Никербокера, странноватого пожилого джентльмена, который в одно самое обыкновенное утро исчез из «Независимой Колумбийской гостиницы», не оплатив счета, зато оставив в номере два седельных мешка, набитых мелко исписанными листочками. Эти листки Ирвинг издал в 1809 году под заглавием «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии». Впоследствии Никербокер стал повествователем в нескольких наиболее известных исторических новеллах Ирвинга.

Вряд ли сам автор предчувствовал тот успех, который выпал на долю его «Истории». Хотя об этом успехе Ирвинг позаботился, как умел. В нью-йоркских газетах было помещено объявление

ние, призывавшее помочь в розысках пропавшего Никербокера. А когда любопытство заинтригованной публики достигло апогея, появился на книжных прилавках томик, содержащий в себе шуточный рассказ о «многих удивительных и забавных историях», разыгравшихся на берегах Гудзона и в далекие, и в сравнительно недавние времена. Книгу покупали так, словно в ней содержались самые злободневные новости.

И действительно, «История» была полна прозрачных намеков на современную общественную и политическую жизнь, остроумных наблюдений и ядовитых сенсаций. Ирвинг не пожалел сарказма, пародируя сухих педантов, подвизавшихся на уровне исторической науки. А попутно он высмеивал разного рода патриотические самообманы, делая это с непринужденностью истинного наследника прославленных юмористов XVIII века. Оправдывая истребление индейцев, утверждали, что аборигены обретаются в потемках язычества, и Никербокер комментировал: разумеется, их надо было обучить христианскому милосердию «с помощью огня и меча, мученического столба и вязанки хвороста». Кичились великой американской привилегией свободы слова, а Никербокер пояснял: в самом деле, замечательно это «право говорить, не имея ни собственных мыслей, ни познаний», зато в полной уверенности, что большинство всегда право.

Сатирические выпады Ирвинга оценили по достоинству. Но в его книге любования было ничуть не меньше, чем лукавства. Сорок лет спустя, переиздавая «Историю Нью-Йорка», Ирвинг и сам указал, что это не просто комический очерк стародавних происшествий. Ведь при всех уродствах описываемого времени «то была поэтическая эпоха... поэтическая по самой своей туманности», овеянная «затейливыми, причудливыми воспоминаниями, которыми так небогата наша молодая страна».

Поэтому и влекла молодого писателя изображаемая им старина. Никербокеру тягостно время, в которое он живет. Занятия историей помогают ему перенестись из скучного «сегодня» в романтическое «тогда». Он зарывается в древности, чтобы не замечать повсюду выросших вокруг «пышных приютов роскоши», где совершаются биржевые сделки и кипят политические страсти. Из пропыленных рукописей голландского времени возникает образ цветущего и солнечного мира, в котором торжествуют радость и гармония. Когда Никербокер запирается у себя в гостиничной

комнате, чтобы обложиться заплесневелыми книгами и кипами выписок, для него как бы перестает существовать окружающая жизнь, а ничего другого ему и не нужно.

И в этом герой очень похож на своего создателя.

С годами Ирвинг становится все необщительнее, все более замкнутым. Во многом этому способствовала неожиданная смерть невесты, но не менее — и те тягостные впечатления, которые он вынес, присутствуя на процессе крупного политического авантюриста, бывшего американского вице-президента Бэрра (о нем в наши дни напишет свой обличающий американскую политическую систему роман Гор Видал). На родине все внушало Ирвингу ощущение краха и тупика. Он мечтал о Европе, но, едва ступив на английскую землю, необычайно остро почувствовал, что воспоминания о старом Нью-Йорке держат его в своем плену. Они нахлынули на Ирвинга, чтобы выплеснуться в новых его книгах, созданных за те долгие семнадцать лет, что он прожил вдали от родных берегов.

Оказалось, что в литературных кругах Англии его имя хорошо известно: об «Истории Нью-Йорка» с похвалой отозвался Байрон, а Вальтер Скотт посоветовал Ирвингу заняться исторической прозой всерьез. Compliments не вскружили Ирвингу голову. Он понимал, что дело не только в его литературных заслугах. Просто многим в Европе сама мысль, что из «нецивилизованной» Америки может явиться настоящий писатель, была в новинку. «Казалось удивительным, — иронически замечает Ирвинг, — что человек, приехавший из дебрей Америки, изъясняется правильным английским языком. На меня смотрели как на диковинку — дикарь с пером в руке, а не на голове. Всем было любопытно услышать, что скажет это существо о цивилизованном обществе».

Вызванное им любопытство Ирвинг удовлетворил быстро. В 1819 году вышла его «Книга эскизов», за ней три года спустя последовал новый сборник новелл и зарисовок — «Брейсбриджхолл», а потом и «Рассказы путешественника» (1824). Это были книги свободного жанра. Новеллы перемежались в них с путевыми очерками, историческими картинками, статьями-размышлениями: и об Англии, и об Америке. Из европейской дали родина рисовалась писателю окутанной той самой романтической дымкой, которая когда-то застилала его взгляд, устремленный на отплывавшие в Европу корабли.

В новеллах Ирвинг предстал как истинный романтик. Первый романтик, которого выдвинула американская литература.

Она в ту пору только начинала обретать свое национальное своеобразие. Поколению романтиков выпало завоевывать американской литературе международное признание. Но сначала нужно было найти и специфические для Америки художественные проблемы, и специфические способы их воплощения. Ирвинг в этом отношении сыграл роль, которую трудно переоценить.

Превосходно начитанный, он многим был связан с английскими литературными традициями, но в своих книгах предстал писателем необычным, потому что новыми, неизвестными Европе были и его коллизии, и его персонажи. Раньше всего его оригинальность почувствовали и оценили в России, и, наверное, поэтому он был так у нас популярен в пушкинскую эпоху. Он печатался тогда и в «Атенее», и в «Телескопе», и в «Московском телеграфе», и в издаваемой Пушкиным «Литературной газете». Его «Альгамбра» подсказала сюжет «Сказки о золотом петушке». Отзвуки его «Истории Нью-Йорка» слышны в пушкинской «Истории села Горюхина». Его лучший рассказ «Рип Ван Винкль» первым перевел декабрист Николай Бестужев, а «Жизнь Магомета» — Петр Киреевский. Его книги, несомненно, знал Гоголь — свидетельство тому и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и «Миргород».

Удивляться такому вниманию русских писателей к Ирвингу не приходится. Американская литература того времени вообще вызвала в России особый интерес, потому что преобладало ощущение родственности условий национальной жизни двух стран и ее коренных, но пока еще не воплотившихся потребностей и запросов. Заокеанский опыт уже и тогда оценивали в России глубоко критически: Пушкин писал о североамериканской «демократии в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве». Но этот опыт помогал по-новому взглянуть на многие проблемы, далеко не безразличные для близкого будущего России и русской культуры. Это были проблемы социальные — демократия истинная и кажущаяся, равенство подлинное и мнимое, душа и «польза». Это были и собственно эстетические проблемы. Две молодые литературы выдвигались на авансцену эстетического развития. Сходство их судеб трудно было не заметить.

До Ирвинга американский писатель рассказывал о своей стране, беззаботно заимствуя у англичан повествовательные формы и поэтический язык. Американская реальность находила отражение разве что в виде колоритных мелких штрихов или мимолетных упоминаний о той или иной особенности местных порядков и нравов. Романтики отвергли подражание английским образцам. Задачей художника они провозгласили постижение американской истории и мышления, психологии, характера американцев. Ирвинг первым осознал эту задачу как главную.

Как и в Европе, романтизм в Америке выразил горечь обманутых высоких надежд: то царство гуманности, которое должно было родиться из очистительного огня революций XVIII века, на поверку оказалось лишь торжеством расчетливого и деловитого филистера-коммерсанта. Романтиков влекло прочь от будничности, где властвовал презираемый ими «здоровый смысл», насаждающий благопристойную посредственность. И они погружались в воспоминания об иных, более гармоничных эпохах истории, на крыльях фантазии уносясь далеко от грубого прозаизма буржуазной повседневности.

Но в этих озарениях божественной фантазии, в этих бегствах от обыденности было у американских романтиков нечто весьма своеобразное, свойственное лишь культуре заокеанской республики. Для поколения Ирвинга революция 1776 года оставалась близким по времени историческим событием. Перспективы, открывающиеся за этим рубежом, еще могли казаться светлыми и радостными, а пороки быстро развивавшейся буржуазной цивилизации еще воспринимались как случайное заблуждение — не больше. Поэтому и фантазия ранних американских романтиков устремлялась не столько в какой-то идеальный, сказочный мир, сколько в реальную и сравнительно недавнюю эпоху, когда Америку еще не затронули веяния «прогресса» и она, кажется, оставалась той «обетованной землей», о которой, по выражению Ф. Энгельса, грезил «безземельные миллионы Европы».

Для Ирвинга подобные представления и иллюзии были особенно характерны. Трудно его за это осуждать. Должен был накопиться горький социальный опыт, чтобы выяснилась эфемерность мечты о новом райском саде, который явит собой Америка, всем и каждому предоставив простор для счастья. Окончательно эти грезы развеются лишь в наше столетие. А весь XIX век прошел

под знаком нараставшего сомнения в том, что сей, выражаясь пушкинским языком, «возвышающий обман» можно примирить с «тьмой низких истин», в справедливости которых заставляла убеждаться действительность Америки.

Несомненно, уже и Ирвингу были знакомы такие сомнения, но его оппозиция буржуазным порядкам, которые победоносно утверждались на родине писателя, приняла своеобразный характер. Волею обстоятельств он оказался оторванным от США на долгие годы, а когда вернулся домой, его ждал триумфальный прием и слава живого классика. Нужно было каким-то образом удовлетворить ожидания соотечественников, не сомневающих, что так или иначе Ирвинг выскажет свое суждение о стремительно развивающейся стране, где успехи «прогресса» тогда еще очень многим кружили головы.

И скрепя сердце он в 1833 голу отправился в большую поездку по новым территориям на Юге и Западе, деля с переселенцами их черствый хлеб и суровый кочевой быт. В результате появились три томика занимательных очерков о прерии, о пионерах и об индейцах. Мастерство не изменило Ирвингу — он был все так же наблюдателен, все так же остроумен. Но красочность описаний чуть не полностью вытеснила из этих очерков социальную проблематику, которую автор всячески старался смягчить, если уж ее нельзя было избежать.

А вслед за тем, словно выполнив скучную, но неизбежную обязанность, Ирвинг отдался биографическому жанру, по счастью не требовавшему откликов на злобу дня. Он писал о Голдсмите, о Магомете, как прежде — о Колумбе и его спутниках. Его совершенно не волновали ни политические, ни литературные баталии, столь острые в США середины XIX века. Он проводил в уединении месяцы и целые годы, а когда из своей усадьбы наезжал в Нью-Йорк, его с любопытством разглядывали, словно обломок давно отшумевшей эпохи.

Шли десятилетия, и он все больше превращался в точное подобие своего Никербокера, готового по любому поводу высмеять современников, но предпочитающего как бы и вовсе их не замечать, точно бы эта необщительность могла его уберечь от пошлости, которой пропиталась вся окружающая атмосфера. То, что он сочинял в своем голландской постройки коттедже на Гудзоне, поблизости от Сонной Лощины, давно уже стряхнувшей былое

ощепенение, оказывалось слишком не в ладу ни со вкусами, ни с запросами тогдашней читающей публики. Незадолго до смерти он успел завершить пятитомное жизнеописание Вашингтона, которое считал своим важнейшим литературным свершением. История рассудила иначе: биографические и очерковые книги Ирвинга теперь почти забыты, а жить остались его новеллы и зарисовки, относящиеся к европейскому периоду творчества. Зато этим новеллам, собранным в «Книге эскизов», «Брейсбридж-холле» и «Альгамбре» (1832), оказалась суждена долгая жизнь.

Секрет их непреходящей притягательности для читателя — прежде всего в своеобразии художественного мира Ирвинга. Это своеобразие создается не только ярко выписанными приметам красного быта старой голландской колонии, как в «Рип Ван Винкле» и «Доме с привидениями», не только необычными характерами, какие любил изображать писатель, не только узорчатой чеканкой сказок из «Альгамбры». Прочитав «Книгу эскизов», Гёте выразил сожаление о том, что автор слишком редко обращается к американской тематике, предпочитая ей сюжеты и мотивы, какие можно встретить у писателей-романтиков самых разных стран. Действительно, новеллы на американские темы лучшие у Ирвинга. Но и в тех случаях, когда он черпал из других источников — немецких, арабских, испанских, — Ирвинг оставался в своем творчестве американцем: об этом говорит сама тональность таких новелл, как «Жених-призрак» или «Роза Альгамбры».

А происходило так потому, что Ирвингу удалось подметить некоторые типичные особенности складывающегося как раз в его эпоху национального американского характера, и, о чем бы он ни писал, он всегда старался взглянуть на мир глазами своего соотечественника. Если даже речь в новелле шла о средневековой Европе или мавританской Испании, звучание рассказа все равно оказывалось необычным для привыкшего к таким сюжетам читателя начала XIX века. И, наблюдая развитие событий, вникая в мотивы поступков персонажей, внимательный читатель быстро различал за рыцарским или восточным колоритом деловитость героев, их сноровку, свободу от предрассудков, житейскую сметливость — словом, множество черточек, каких не могло быть у людей изображаемой Ирвингом эпохи, но с которыми Европа уже успела познакомиться, когда из-за океана стали все чаще на-